

*Памяти моей матери и моего отца
Памяти Карла Проффера*

*...Сердце бьется тогда, когда надо бы разорваться.
Чеслав Милош. Элегия Н. Н.*

МЕНЬШЕ ЕДИНИЦЫ

1

По безнадежности все попытки воскресить прошлое похожи на старания постичь смысл жизни. Чувствуешь себя как младенец, пытающийся схватить баскетбольный мяч: он выскальзывает из рук.

Я немного помню из своей жизни, и то, что помню, — не слишком существенно. Значение большинства мыслей, некогда приходивших мне в голову, ограничивается тем временем, когда они возникли. Если же нет, то их, без сомнения, гораздо удачнее выразил кто-то еще. Биография писателя — в покрое его языка. Помню, например, что в возрасте лет десяти или одиннадцати мне пришло в голову, что изречение Маркса «Бытие определяет сознание» верно лишь до тех пор, пока сознание не овладело искусством отчуждения; далее сознание живет самостоятельно и может как регулировать, так и игнорировать существование. Для того возраста это, безусловно, было открытием — но отмечать его вряд ли стоит, и другие наверняка сформулировали его лучше. И так ли уж важно, кто первым раскусил духовную клинопись, прекрасным образчиком коей является «бытие определяет сознание»?

Так что пишу я это не для того, чтобы уточнить хронику жизни (таковой нет, а если и есть, то она несущественна и, следовательно, еще не искажена), а больше по той обыкновенной причине, по какой вообще пишет писатель: чтобы подхлестнуть язык — или себя языком, в данном случае чужестранным. То немного, что я помню, сокращается еще больше, будучи воспоминаемо по-английски.

Для начала должен положиться на мою метрику, где сказано, что я родился 24 мая 1940 года в России, в Ленинграде, хоть и претендует мне это название города, давно именуемого в просторечии Питером. Есть старое двустишие:

Старый Питер
Бока повытер.

В национальном сознании город этот — безусловно Ленинград; с увеличением пошлости его содержимого он становится Ленинградом все больше и больше. Кроме того, слово «Ленинград» для русского уха звучит ныне так же нейтрально, как слово «строительство» или «колбаса». Я, однако, предпочту называть его Питером, ибо помню время, когда он не выглядел Ленинградом, — сразу же после войны. Серые, светло-зеленые фасады в выбоинах от пуль и осколков, бесконечные пустые улицы с редкими прохожими и автомобилями; облик голодный — и вследствие этого с большей определенностью и, если угодно, благородством черт. Худое жесткое лицо, и абстрактный блеск реки, отраженный глазами его темных окон. Уцелевшего нельзя назвать именем Ленина.

За этими величественными выщербленными фасадами — среди старых пианино, вытертых ковров, пыльных картин в тяжелых бронзовых рамах, избежавших буржуйки остатков мебели (стулья гнили первыми) — слабо затеплилась жизнь. И помню, как по дороге в школу, проходя мимо этих фасадов, я погружался в фантазии о том, что творится внутри, в комнатах со старыми вспученными обоями. Надо сказать, что из этих фасадов и портиков — классических, в стиле модерн, эклектических, с их колоннами, пилястрами, лепными головами мифических животных и людей, из их орнаментов и кариатид, подпирающих балконы, из торсов в нишах подъездов — я узнал об истории нашего мира больше, чем впоследствии из любой книги. Греция, Рим, Египет — все они были тут и все хранили следы артиллерийских обстрелов. А серое зеркало реки, иногда с буксиром, пыхтящим против течения, рассказало мне о бесконечности и стоицизме больше, чем математика и Зенон.

Все это имело мало отношения к Ленину, которого я невзлюбил, полагаю, с первого класса — не столько из-за его политической философии и деятельности, о которых в семилетнем возрасте я имел мало понятия, а из-за вездесущих его изображений, которые оккупировали чуть ли не все учебники, чуть ли не все стены в классах, марки, деньги и бог знает что еще, запечатлев его в разных возрастах и на разных этапах жизни. Был крошка-Ленин в светлых кудряшках, похожий на херувима. Затем Ленин на третьем и четвертом десятке — лысеющий и напряженный, с тем бессмысленным выражением, которое можно принять за что угодно — желательное за целеустремленность. Лицо это преследует всякого русского, предлагая некую норму человеческой внешности — ибо

полностью лишено индивидуального. (Может быть, благодаря отсутствию своеобразия оно и позволяет предположить много разных возможностей.) Затем был пожилой Ленин, лысый, с клиновидной бородкой, в темной тройке, иногда улыбающийся, а чаще обращающийся к «массам» с броневика или трибуны какого-нибудь партийного съезда, с простертой рукой.

Были варианты: Ленин в рабочей кепке, с гвоздикой в петлице; в жилетке у себя в кабинете, за чтением или письмом; на пне у озера, записывающий свои «Апрельские тезисы» или еще какой-то бред, на лоне. И наконец, Ленин в полувоенном френче на садовой скамье рядом со Сталиным, единственным, кто превзошел его по числу печатных изображений. Но тогда Сталин был живой, а Ленин мертвый и уже по одному по этому «хороший» — потому что принадлежал прошлому, то есть был утверждён и историей, и природой. Между тем как Сталин был утверждён только природой — или наоборот.

Вероятно, научившись не замечать эти картинки, я усвоил первый урок в искусстве отключаться, сделал первый шаг по пути отчуждения. Последовали дальнейшие: в сущности, всю мою жизнь можно рассматривать как непрерывное старание избегать наиболее назойливых ее проявлений. Надо сказать, что по этой дороге я зашел весьма далеко, может быть слишком далеко. Все, что пахло повторяемостью, компрометировало себя и подлежало удалению. Это относилось к фразам, деревьям, людям определенного типа, иногда даже к физической боли; это повлияло на отношения со многими людьми. В некотором смысле я благодарен Ленину. Все тиражное я сразу воспринимал как некую пропаганду. Подобный взгляд на вещи, мне кажется, колоссально ускорил движение сквозь чащу событий — с сопутствующим верхоглядством.

Я несколько не верю, что все ключи к характеру следует искать в детстве. Три поколения русских жили в коммунальных квартирах и тесных комнатах, и, когда наши родители занимались любовью, мы притворялись спящими. Потом была война, голод, погибшие или искалеченные отцы, огрубевшие матери, официальное вранье в школе и неофициальное дома. Суровые зимы, уродливая одежда, публичное вывешивание наших мокрых простыней в лагерях и принародное обсуждение подобных дел. Потом над лагерем взвивался красный флаг. Ну и что? Вся эта милитаризация детства, весь этот зловещий идиотизм, половая озабоченность (в десять лет мы вождедели наших учительниц) не сильно повлияли

на нашу этику и эстетику — а также на нашу способность любить и страдать. Я вспоминаю об этих вещах не потому, что считаю их ключами к подсознательному, и подавно не из ностальгии по детству. Я вспоминаю о них потому, что никогда прежде этим не занимался, потому что желаю кое-какие из них сохранить — хотя бы на бумаге. И потому еще, что оглядываться — занятие более благодарное, чем смотреть вперед. Попросту говоря, завтра менее привлекательно, чем вчера. Почему-то прошлое не дышит такой чудовищной монотонностью, как будущее. Будущее, ввиду его обилия, — пропаганда. Также и трава.

Подлинная история нашего сознания начинается с первой лжи. Свою я помню. Это было в школьной библиотеке, где мне полагалось заполнить читательскую карточку. Пятый пункт был, разумеется, «национальность». Семи лет от роду, я отлично знал, что я еврей, но сказал библиотекарьше, что не знаю. Подозрительно оживившись, она предложила мне сходить домой и спросить у родителей. В эту библиотеку я больше не вернулся, хотя стал читателем многих других, где были такие же карточки. Я не стыдился того, что я еврей, и не боялся сознаться в этом. В классном журнале были записаны наши имена, имена родителей, домашние адреса и национальности, и учительница периодически «забывала» журнал на столе во время перемены. И тогда, как стервятники, мы набрасывались на эти самые страницы; все в классе знали, что я еврей. Но из семилетних мальчишек антисемиты неважные. Кроме того, я был довольно силен для своих лет — а кулаки тогда значили больше всего. Я стыдился самого слова «еврей» — независимо от нюансов его содержания.

Судьба слова зависит от множества его контекстов, от частоты его употребления. В печатном русском языке слово «еврей» встречалось так же редко, как «пресуществление» или «агорафобия». Вообще, по своему статусу оно близко к матерному слову или названию венерической болезни. У семилетнего словарь достаточен, чтобы ощутить редкость этого слова, и называть им себя крайне неприятно; оно почему-то оскорбляет чувство просодии. Помню, что мне всегда было проще со словом «жид»: оно явно оскорбительно, а потому бессмысленно, не отягощено нюансами. В русском языке односложное слово недорого стоит. А вот когда присоединяются суффиксы, или окончания, или приставки, тогда летят пух и перья. Все это не к тому говорится, что в нежном возрасте

я страдал от своего еврейства; просто моя первая ложь была связана с определением моей личности.

Недурное начало. Что же до антисемитизма как такового, меня он мало трогал, поскольку исходил главным образом от учителей: он воспринимался как неотъемлемый аспект их отрицательной роли в наших жизнях; отплевываться от него следовало, как от плохих отметок. Будь я католиком, я пожелал бы большинству из них гореть в Аду. Правда, некоторые учителя были лучше других, но, поскольку все они были хозяевами нашей каждодневной жизни, мы не трудились проводить различия. Да и они не особенно различали своих маленьких рабов, и даже в самом пылком антисемитском замечании слышалась безличная рутинка. Я почему-то никогда не мог относиться всерьез к любым словесным нападкам, в особенности — людей столь далеких по возрасту. Видимо, диатрибы моих родителей очень меня закалили. Вдобавок некоторые учителя сами были евреями, и страшился я их не меньше, чем чистокровных русских.

Это всего лишь один пример укорочения личности, которое — вместе с самим языком, где глаголы и существительные меняются местами настолько свободно, насколько у вас достанет смелости их тасовать, — воспитывало в нас такую всеобъемлющую амбивалентность чувств, что из десятилетки мы выходили с силой воли никак не большей, чем у водорослей. Четыре года в армии (мужчин призывали в 19 лет) завершали процесс капитуляции перед государством. Повиновение становилось и второй натурой, и первой.

Человек с головой, конечно, пытался перехитрить систему — изобретая разные обходные маневры, вступая в сомнительные сделки с начальством, громоздя ложь на ложь, дергая ниточки семейных связей. На это уходит вся жизнь целиком. Но ты поймешь, что сплетенная тобой паутина — паутина лжи, и, несмотря на любые успехи и чувство юмора, будешь презирать себя. Это окончательное торжество системы: перехитришь ты ее или же примкнешь к ней, совесть твоя одинаково нечиста. Народная мудрость гласит, что нет худа без добра, — справедливо, видимо, и обратное.

Амбивалентность, мне кажется, — главная характеристика нашего народа. Нет в России палача, который бы не боялся стать однажды жертвой, нет такой жертвы, пусть самой несчастной, которая не призналась бы (хотя бы себе) в моральной способности стать палачом. Наша новейшая история хорошо позаботилась и о тех

и о других. Какая-то мудрость в этом есть. Можно даже подумать, что эта амбивалентность и есть мудрость, что жизнь сама по себе не добра и не зла, а произвольна. Может быть, наша литература поэтому так замечательно и отстаивает добро, что чересчур сильно ему сопротивление. Будь эта направленность только двоюмыслием, это было бы прекрасно; но она гладит против шерсти инстинкты. Именно эта амбивалентность, я полагаю, и есть та «благая весть», которую Восток, не имея предложить ничего лучшего, готов навязать остальному миру. И мир, кажется, для этого созрел.

Но если отвлечься от судеб мира, единственный способ для мальчишки восстать против своего жребия — это сойти с рельсов. Сделать это было трудно — из-за родителей, из-за того, что ты сам страшишься неведомого. А главное, потому что будешь непохож на большинство, большинство же — ты впитал это с материнским молоком — право. Требуется определенная беззаботность, а беззаботности у меня всегда хватало. Помню, когда я бросил школу в возрасте 15 лет, это было не столько сознательным решением, сколько инстинктивной реакцией. Я просто не мог терпеть некоторые лица в классе — и некоторых однокашников, и, главное, учителей. И вот однажды зимним утром, без всякой видимой причины, я встал среди урока и мелодраматически удалился, ясно сознавая, что больше сюда не вернусь. Из чувств, обуревавших меня в ту минуту, помню только отвращение к себе за то, что я так молод и столькие могут мной помыкать. Кроме того, было смутное, но радостное ощущение побега, солнечной улицы без конца.

Главное, наверное, заключалось в смене обстановки. В централизованном государстве все помещения похожи: кабинет директора школы был точной копией следовательских кабинетов, куда я зачастил лет через пять. Те же деревянные панели, письменные столы, стулья — столярный рай. Те же портреты основоположников — Ленина, Сталина, членов политбюро и Максима Горького (основоположника советской литературы), если дело было в школе, или Феликса Дзержинского (основоположника советской тайной полиции), если дело было у следователя.

Впрочем, Железный Феликс, Рыцарь Революции, мог украшать и кабинет директора, если тот спланировал в систему образования с высот КГБ. И оштукатуренные стены классов с синей горизонтальной полоской на уровне глаз, протянувшейся неуклонно через всю страну, как черта бесконечной дроби: через залы, больницы, фабрики, тюрьмы, коридоры коммунальных квартир. Единственное место, где я не видел ее, — крестьянская изба.

Сей орнамент встречал вас повсюду и сводил с ума; сколько раз я ловил себя на том, что тупо таращусь на узкую полосу, принимая ее порой то за черту морского горизонта, то за воплощение чистого небытия. Орнамент был слишком абстрактен, он ничего не мог означать. От пола до уровня глаз стена была покрыта мышинной или зеленоватой краской, которую завершала эта синяя полоса; выше простиралась девственная побелка. Никто никогда не спросил, почему это так. Никто бы и не ответил. Она была, и всё, — пограничная линия, рубеж между серым и белым, низом и верхом. Это были даже не краски, а намеки на краску, перебивавшиеся лишь коричневыми заплатами: дверьми. Закрытыми, приотворенными. И за приотворенной дверью ты видел другую комнату с тем же распределением серого и белого, разделенных синей чертой. А также портрет Ленина и карту мира.

Хорошо было покинуть этот кафкианский космос, хотя уже тогда я знал, — так мне кажется, — что меняю шило на мыло. Я знал, что всякое другое здание, куда я войду, будет выглядеть так же, ибо коротать свой век так или иначе нам суждено в зданиях. Но я чувствовал, что должен уйти. Финансовое положение моей семьи было мрачным: существовали мы преимущественно на жалованье матери, потому что отец, демобилизованный с флота в соответствии с неким потусторонним указом, что евреи не должны иметь высоких воинских званий, никак не мог найти работу. Конечно, родители перебились бы и без моих заработков; они предпочли бы, чтобы я окончил школу. Я понимал это, но говорил себе, что должен помогать семье. Это была почти ложь, но так оно выглядело красивее, а к тому времени я научился ценить ложь именно за это «почти», которое заостряет контуры правды: в самом деле, правда кончается там, где начинается ложь. Вот чему научился в школе мальчик, и эта наука оказалась полезней алгебры.

2

Что бы ни подвигло меня на решение — ложь ли, правда ли, или (скорее всего) их смесь, — я бесконечно благодарен им за то, что было, судя по всему, моим первым свободным поступком. Это был инстинктивный поступок, отвал. Рассудок сыграл тут очень небольшую роль. Я знаю это потому, что с тех пор уходы мои повторялись — с нарастающей частотой. И не всегда по причине скуки или от ощущения капкана: а я уходил из прекраснейших ситуаций не реже, чем из ужасных. Как ни скромно занятое тобой место, если

оно хоть сколько-нибудь прилично, будь уверен, что в один прекрасный день кто-нибудь придет и потребует его для себя или, что еще хуже, предложит его разделить. Тогда ты должен либо драться за место, либо оставить его. Я предпочитал второе. Вовсе не потому, что не способен драться, а скорее из отвращения к себе: если ты выбрал нечто, привлекающее других, это означает определенную вульгарность вкуса. И вовсе не важно, что ты набрел на это место первым. Первым очутиться даже хуже, ибо у тех, кто приходит следом, аппетит больше твоего, отчасти уже удовлетворенного.

После я не раз сожалел о своем поступке — в особенности видя, как успешно продвигаются мои однокашники внутри системы. Однако я знал кое-что такое, чего не знали они. В сущности, я тоже продвигался, но в противоположном направлении и забирался несколько дальше. Что мне особенно приятно — я застал «рабочий класс» в его истинно пролетарской фазе, до того как в конце пятидесятых годов он начал омещиваться. Там, на заводе, став в пятнадцать лет фрезеровщиком, я столкнулся с настоящим пролетариатом. Маркс опознал бы их немедленно. Они — а вернее, мы — жили в коммунальных квартирах — по четыре-пять человек в комнате, нередко три поколения вместе, спали в очередь, пили по-черному, грызлись друг с другом или с соседями на общей кухне или в утренней очереди к общему сортиру, били своих баб смертным боем, рыдали не таясь, когда загнулся Сталин или в кино, матерились так густо, что обычное слово вроде «аэроплана» резало слух, как изощренная похабщина, — и превращались в серый равнодушный океан голов или лес поднятых рук на митингах в защиту какого-нибудь Египта.

Завод был весь кирпичный, огромный — стопроцентный продукт промышленной революции. Он был построен в конце XIX века, и питерцы звали его «Арсеналом»: завод делал пушки. Когда я поступил туда, там производили еще компрессоры и сельскохозяйственные машины. Но за семью покровами секретности, окутывающей в России все, что связано с тяжелой промышленностью, завод значился под кодовым номером «Почтовый ящик 671». Думаю, однако, что секретность разводили не столько для того, чтобы сбить с толку иностранную разведку, сколько для поддержания полувоенной дисциплины, единственного, что могло обеспечить какую-то стабильность производства. В обоих отношениях неуспех был очевиден.

Оборудование стояло устарелое, на девять десятых вывезенное из Германии после войны по репарациям. Помню весь этот чугунный зверинец, полный экзотических экземпляров с названиями «Цинциннати», «Карлтон», «Фриц Вернер», «Сименс и Шуккерт». Планирование было ужасающее; то и дело срочный заказ на какую-нибудь деталь срывал твои эфемерные попытки наладить рабочий ритм, систему. К концу квартала, когда план летел в трубу, администрация бросала клич, мобилизовала всех на одно задание, и план брали штурмом. Если что-нибудь ломалось, запасных частей не было, и тогда призывали ватагу ремонтников, обычно полупьяных, колдовать над поломкой. Металл поступал весь в раковинах. В понедельник, не говоря уже об утре после получки, почти все маялись с похмелья.

На другой день после проигрыша городской или сборной футбольной команды производительность резко падала. Никто не работал, все обсуждали игроков и эпизоды матча, ибо наряду со всеми комплексами великой державы Россия страдает сильным комплексом неполноценности, свойственным малым странам. Главной причиной тому — централизация жизни страны. Отсюда — позитивная «жизнеутверждающая» ахинея официальных газет и радио даже при рассказе о землетрясении; они никогда не сообщали никаких сведений о жертвах, а только пели о братской помощи других городов и республик, славших в район бедствия палатки и спальные мешки. А если возникла эпидемия холеры, вы могли случайно узнать про нее, читая сообщение о последних успехах нашей чудесной медицины, выразившихся в изобретении новой сыворотки.

Все это выглядело бы чистым абсурдом, если бы не те ранние утра, когда, запив свой завтрак жидким чаем, я догонял трамвай, чтобы добавить еще одну вишенку к темной людской грозди, свисавшей с подножки, и плыл сквозь акварельный розово-голубой город к конуре-проходной. Там два вахтера проверяли наши пропуска, а фасад был украшен классическими фанерными пилястрами. Я заметил, что входы в тюрьмы, психиатрические больницы, концентрационные лагеря строятся в одном стиле: все подражают классическим или барочным портикам. Замечательная преемственность. В моем цеху под потолком витали разные оттенки серого, а на полу шипели шланги со сжатым воздухом и всеми цветами радуги переливались мазутные лужи. К десяти часам эти железные джунгли полностью пробуждались к жизни, гремели, скрежетали, и стальной ствол будущей зенитки проплывал в воздухе, как отрубленная шея жирафа.

Я всегда завидовал людям XIX века, которые могли оглянуться назад и разглядеть вехи своей жизни, своего развития. Какое-то событие знаменовало поворотную точку, начало нового этапа. Я говорю о писателях; но занимает меня вообще способность определенного типа людей разумно истолковать свою жизнь, увидеть вещи по отдельности, пусть даже нечетко. Я понимаю, что эта способность не ограничена XIX веком. Однако в моей жизни она представлена главным образом литературой. То ли из-за какого-то глубокого умственного изъяна, то ли из-за текучей, аморфной природы самой жизни я никогда не мог различить никаких вех, не говоря уже о бакенах. Если и существует в ней нечто подобное вехе, я все равно не смогу подтвердить ее достоверность: эта веха — смерть. В некотором смысле такого периода, как детство, вообще не было. Эти категории — детство, взрослость, зрелость — представляются мне весьма странными, и если я пользуюсь ими иногда в разговоре, то про себя все равно считаю заемными.

Видимо, всегда было какое-то «я» внутри той маленькой, а потом несколько большей раковины, вокруг которой «всё» происходило. Внутри этой раковины сущность, называемая «я», никогда не менялась и никогда не переставала наблюдать за тем, что происходит вовне. Я не намекаю, что внутри была жемчужина. Я просто хочу сказать, что ход времени мало затрагивает эту сущность. Получать плохие отметки, работать на фрезерном станке, подвергаться побоям на допросе, читать лекцию о Каллимахе — по сути, одно и то же. Вот почему испытываешь некоторое изумление, когда вырастешь и оказываешься перед задачами, которые положено решать взрослым. Недовольство ребенка родительской властью и паника взрослого перед ответственностью — вещи одного порядка. Ты не тождествен ни одному из этих персонажей, ни одной из этих социальных единиц; может быть, ты меньше единицы.

Разумеется, отчасти это — производное твоей профессии. Если ты банкир или пилот, ты знаешь, что, набравшись опыта, ты можешь более или менее рассчитывать на прибыль или мягкую посадку. В писательском же деле наживаешь не опыт, а неуверенность. Каковая есть лишь другое название для ремесла. В этой области, где навык губит дело, понятия отрочества и зрелости мешаются и наиболее частое состояние души — паника. Так что я лгал бы, если бы придерживался хронологии или еще чего-либо, подразумевающего линейный процесс. Школа есть завод есть стихотворение есть тюрьма есть академия есть скука, с приступами паники.

С той только разницей, что завод был рядом с больницей, а больница — рядом с самой знаменитой в России тюрьмой — «Крестами»¹. И в морге этой больницы я стал работать, когда ушел с «Арсенала», ибо задумал стать врачом. «Кресты» же открыли мне свои двери вскоре после того, как я передумал и начал писать стихи. Когда я работал на заводе, я видел за оградой больницу. Когда я резал и зашивал трупы в больнице, я видел прогулку заключенных во дворе «Крестов»; иногда они ухитрялись перебросить через стену письма, я подбирал их и отсылал. Благодаря столь плотной топографии и благодаря ограждающим свойствам раковины все эти места, должности, заключенные, рабочие, охранники, врачи слились друг с другом, и мне уже не понять, вспоминаю ли я заключенного, рассказывающего по утюгообразному двору «Крестов», или это я сам там рассказываю. Кроме того, завод и тюрьма были построены примерно в одно время и внешне неразличимы; одно вполне сходило за крыло другого.

Посему нет смысла стремиться к соблюдению последовательности в моем рассказе. Жизнь никогда не представлялась мне цепью четко обозначенных переходов; скорее, она растет, как снежный ком, и чем дальше, тем больше одно место (или время) походит на другое. Помню, например, как в 1945 году, на какой-то станции под Ленинградом, мы с матерью ждали поезда. Война только что кончилась, двадцать миллионов русских гнили в наспах вырытых могил, другие, разбросанные войной, возвращались к своим очагам или к тому, что от очага осталось. Станция являла собой картину первозданного хаоса. Люди осаждали теплушки, как обезумевшие насекомые; они лезли на крыши вагонов, набивались между ними и так далее. Почему-то мое внимание привлек лысый увечный старик на деревянной ноге, который пытался влезть то в один вагон, то в другой, но каждый раз его сталкивали люди, висевшие на подножках. Поезд тронулся, калека заковылял рядом. Наконец ему удалось схватиться за поручень, и тут я увидел, как женщина, стоявшая в дверях, подняла чайник и стала лить кипяток ему на лысину. Старик упал... броуново движение тысячи ног поглотило его, и больше я его не увидел.

Сцена была жестокая, да, но этот жестокий миг сливается в моем уме с историей, произошедшей двадцатью годами позже, когда

¹ В «Крестах» 999 камер. — *Примеч. автора.*

изловили группу бывших полицаев. О ней писали в газетах. Там было шестеро или семеро стариков. Фамилия их главаря была, естественно, Гуревич или Гинзбург: иначе сказать, он был еврей, хотя еврей-полицай — существо труднообразимое. Они получили разные сроки. Еврей, естественно, высшую меру. Рассказывали, что утром, когда его выводили на расстрел, офицер спросил его: «Да, кстати, Гуревич (или Гинзбург), какое твое последнее желание?» — «Последнее желание? — переспросил тот. — Не знаю. Отлить бы». На что офицер ответил: «Ладно, после отольешь». Так вот, для меня эти две истории одинаковы; и даже хуже, если вторая — чистый фольклор, хотя я в этом сомневаюсь. Я слышал сотню подобных историй. Может быть, не одну сотню. Тем не менее они сливаются.

Отличие завода от школы состояло не в том, чем я там и там занимался, не в том, о чем я думал в соответствующие периоды, а в их фасадах, в том, что я видел по дороге в цех или на урок. В конечном счете наружность — это все, что есть. Тот же дурацкий жребий выпал миллионам и миллионам. Существование, и само по себе монотонное, было сведено централизованным государством к единообразной окостенелости. Наблюдать оставалось только лица, погоду, здания; а кроме того, язык, которым вокруг пользовались.

У меня был дядя, член партии и, как я теперь понимаю, прекрасный инженер. В войну он строил бомбоубежища для *Parteigepossen*¹; до и после нее строил мосты. И те и другие еще целы. Отец постоянно высмеивал его, когда спорил с матерью из-за денег; мать же ставила своего брата-инженера в пример как человека основательного и уравновешенного, и я, более или менее автоматически, стал смотреть на него свысока. Зато у него была замечательная библиотека. Читал он, по-моему, немного; но в советских средних слоях считалось — и по сей день считается — признаком хорошего тона подписка на новые издания энциклопедий, классиков и проч. Я завидовал ему безумно. Помню, как однажды, стоя у него за креслом, смотрел ему в затылок и думал, что, если убить его, все книги достанутся мне — он был тогда холост и бездетен. Я таскал книги у него с полком и даже подобрал ключ к высокому шкафу, где стояли за стеклом четыре громадных тома дореволюционного издания «Мужчины и женщины».

¹ Партийных товарищей (нем.). — Здесь и далее примеч. перев.

Это была богато иллюстрированная энциклопедия, которой я до сих пор обязан начатками знания о том, каков запретный плод на вкус. Если порнография, в общем, — неодушевленный предмет, вызывающий эрекцию, то стоит заметить, что в пуританской атмосфере сталинской России можно было возбудиться от совершенно невинного соцреалистического полотна под названием «Прием в комсомол», широко репродуцируемого и украшавшего чуть ли не каждую классную комнату. Среди персонажей на этой картине была молодая блондинка, которая сидела, закинув ногу на ногу так, что заголились пять-шесть сантиметров ляжки. И не столько сама эта ляжка, сколько контраст ее с темно-коричневым платьем сводил меня с ума и преследовал в сновидениях.

Тогда-то я и научился не верить болтовне о подсознательном. По-моему, мне никогда не снились символы — я видел во сне реальные вещи: грудь, бедра, женское белье. Что до последнего, то для нас, мальчишек, оно было исполнено странного значения. Помню, во время урока кто-нибудь проползал под партами через весь класс к столу учительницы с единственной целью — заглянуть к ней под платье и выяснить, какого сегодня цвета на ней трико. По завершении экспедиции он драматическим шепотом возвещал классу: «Сиреневые».

Короче, нас не особенно терзали фантазии: дай бог с реальностью совладать. Я уже говорил где-то, что русские — по крайней мере, моего поколения — никогда не обращаются к психиатрам. Во-первых, их маловато. Кроме того, психиатрия — собственность государства. Человек знает, что иметь историю болезни у психиатра не так уж полезно. В любой момент она может выйти боком. Во всяком случае, со своими проблемами мы справлялись сами, следя за тем, что творится у нас в мозгах, без посторонней помощи. Определенное преимущество тоталитаризма заключается в том, что он предлагает индивиду некую личную вертикальную иерархию с совестью во главе. Мы надзираем за тем, что происходит у нас внутри; так сказать, доносим нашей совести на наши инстинкты. А затем себя наказываем. Когда мы осознаем, что наказание несоизмеримо свинству, обнаруженному в собственной душе, мы прибегаем к алкоголю и топим в нем мозги.

Такая система мне кажется действенной и требует меньше наличных. Я не хочу сказать, что подавление лучше свободы; просто я полагаю, что механизм подавления столь же присущ человеческой психике, сколь и механизм раскрепощения. Кроме того,

скромнее и вернее, в конце концов, сознавать себя скотиной, нежели падшим ангелом. У меня есть все основания так думать, ибо в стране, где я прожил тридцать два года, прелюбодеяние и посещение кинотеатра суть единственные формы частного предпринимательства. Еще искусство.

При всем том я был полон патриотизма. Нормального детского патриотизма, с сильным военным душком. Я обожал самолеты и боевые корабли, и верхом красоты казался мне желто-голубой флаг ВВС, напоминавший купол парашюта, с изображением пропеллера в центре. Я был помешан на самолетах и до недавнего времени внимательно следил за новостями в авиации. Бросил только с появлением ракет, и любовь превратилась в ностальгию по винтовым самолетам. (Знаю, что я не один такой: мой девятилетний сын однажды сказал, что ломает все реактивные самолеты и снова разведет бипланы.) Что касается флота, я был истинным сыном своего отца и в четырнадцать лет подал в подводное училище. Сдал все экзамены, но из-за пятого пункта — национальности — не поступил, и моя иррациональная любовь к морским шинелям с двумя рядами золотых пуговиц, напоминающих вереницу фонарей на ночной улице, осталась безответной.

Боюсь, что визуальные стороны жизни всегда значили для меня больше, чем ее содержание. Например, я влюбился в фотографию Сэмюэля Беккета задолго до того, как прочел у него первую строчку. Что до военных, тюрьмы избавили меня от призыва, так что мой роман с мундиром остановился на платонической стадии. На мой взгляд, тюрьма гораздо лучше армии. Во-первых, в тюрьме никто не учит тебя ненавидеть далекого «потенциального» врага. В тюрьме твой враг — не абстракция; он конкретен и осязаем. Возможно, «враг» — слишком сильное слово. В тюрьме имеешь дело с крайне одомашненным понятием врага, что делает всю ситуацию приземленной, обыденной. По существу, мои надзиратели или соседи ничем не отличались от учителей и тех рабочих, которые унижали меня в пору моего заводского ученичества.

Иными словами, ненависть моя не была распылена на каких-то неведомых капиталистов; это даже не была ненависть. Проклятый дар всепонимания, а следовательно, всепрощения, проклюнувшийся еще в школе, полностью расцвел в тюрьме. Не думаю даже, что ненавидел моих следователей из КГБ: я склонен был и их оправдывать (ни на что больше не годен, должен кормить семью и т. д.).